

III. Секты

Римская империя и весь древний мир рушились с таким страшным грохотом; падение их сопровождалось таким ужасным разрушением и такими страданиями; нахлынувшие народы до того изменили все существовавшие до тех пор политические отношения и так изгладили все следы древней цивилизации, — что, казалось, будто в новом обществе, развившемся из хаоса варварской эпохи, не может быть ничего общего с погибшим старым; что все основания его должны быть иные; что из новых элементов должно выработаться нечто совершенно новое и небывалое.

Но что же, так ли было? Правда, внешние формы во многом изменились. — Древнее государство пало и долго не было ничем заменено; рабство переменялось на крепостное право; обычаи варваров заменили на некоторое время мудрость юстиниановских чиновников; классическое просвещение уступило место монашеским фантазиям и монастырской схоластике. Могло показаться, что общество действительно учредилось на других началах и руководствуется иными интересами. Однако, если, не останавливаясь на внешности, взглянуть на действительную сущность дела, окажется совершенно иное. Древний мир был основан на грабеже, эксплуатации и рабстве. „Все наши раздоры и междоусобия происходят от лихоимства“, — говорил Тацит. Все историки согласны в том, что настоящий смысл всех политических смут и переворотов Рима заключался в борьбе эксплуататоров с эксплуатируемыми, обдирал с обдираемыми — скажем по-русски. „Самая жестокая война — война патрициев с плебеями“, — говорил Ливий. „Рим перестал быть общим отечеством римлян; это два различных города: в одном нищета и рабство, в другом — изобилие и господство“. Патриции и плебеи вовсе не аристократы и демократы в том смысле, как понимали эти выражения революционеры прошлого века: это кредиторы и должники. В этом грубом обществе все отношения еще откровенны, просты и сводятся к двум категориям: лихоимство и насилие — плебеи и рабы. Рабство — плод физического насилия, военной победы, условие повергнутого наземь с ножом у горла противника; лихоимство — плод мошенничества, победы на более обширном поле борьбы за существование в анархическом обществе, условие жертвы, гибнущей с голода. Из этих двух отношений развилось все древнее общество и вся его история.

Точно то же представляет нам и новый мир. Лихоимство и рабство остаются его главными основаниями, когда все прочее исчезает. „Различие сословий было произведено не кровью, не расой, а собственностью“, — говорит один весьма благонамеренный историк, т. е. лихоимством, должно прибавить. Здесь лихоимство тесно сливается с открытым грабежом, так что в века кулачного права нельзя разобрать, где начинается грабеж, где кончается собственность.

Феодальная собственность вышла из завоевания, говорят все писатели, от аристократа Буленвилье до сочинителей „Прав Человека и Гражданина“ [69]. Ее дальнейшее существование в феодальном мире соответствует этому началу. Каждый собственник —

разбойник. Капитал его — неприступный замок, добрый конь и хорошее вооружение; проценты с него — добыча грабежа. Нет еще ни банков, ни биржи, ни акций, ни векселей, ни облигаций; дело делается просто: он собственник — он грабит, без лукавства и притворства, без страха и упрека — по-рыцарски. Духовенство, живущее в таких же укрепленных аббатствах, как и замки рыцарей, умеющее также хорошо ездить верхом и управлять копьем, — тоже собственник и тоже грабит. Кроме того, оно не пренебрегает пускать в ход и духовное оружие. „Кошелек или жизнь?“ — говорят рыцари. „Десятину или душу?“ — вторят им аббаты. „Плати или умри!“ — предлагают первые. „Плати или иди в ад!“ — подтверждают вторые. Барон де-Куси вымогал у проезжих деньги, вешая их за большие пальцы ног. В 585 году Маконский собор обещал такое же наказание, но в вечности, всем, кто не заплатит десятины. Барон был лучше императорских мытарей Рима: нужно было быть только осторожным и не попадаться ему. Аббаты и епископы были хуже: от них не мог укрыться никто. Мытари стучались в дверь бедняка; епископы стучались в его душу.

Духовенство господствовало в средние века, и не мудрено: оно было самым крупным капиталистом. Оно владело всем, чем и дворянство, и кроме того церковными громами. Церковные должности делали человека тем, чем теперь вексель Ротшильда; неудивительно, что в них вкладывались значительные капиталы, когда, помещенные таким образом, они приносили так много. Благочестивые люди возмущались продажностью церковных должностей. „Можно ли уважать то, что продается?“ — говорил папа св. Григорий Великий [70]. „Продажное все презирают. Церковь не может существовать там, где ею торгуют“. Папа рассуждал непоследовательно и притом непрактично. Если церковь может приносить хорошие проценты, отчего же нельзя торговать ею? Очевидно, что церковные должности, дающие доход и большой доход, должны рассматриваться, как капиталы, и подлежать всем правилам торговых оборотов. „Бог, — проповедают епископы, — дал богатым имения для того, чтобы выкупать грехи“. Это, конечно, не похоже на принципы христианства Иоаннов Златоустов, Василиев [71], Григориев и Тертуллианов [72], но верно характеризует социальное положение церкви в средние века. Пастыри имеют власть разрешать и связывать; они покупают свои места на наличные деньги. Надо же стараться извлечь из капитала побольше процентов! Итак, религия обращается в лихоимство.

Пипин [73] богато одарил монастыри и тут же откровенно сознался, что сделал это в видах лихоимства. „Я отдал малость, — объявляет он с такою же невозмутимостью, как нынешние капиталисты, — чтобы приобрести громадные сокровища“. Церковь отвечает на это составлением таксы на все грехи.

Другое основание римского общества — рабство существует и в новом мире во всей своей силе. Тупоумные историки много толкуют о прогрессе, совершившемся при переходе от рабства к крепостному праву; кропотливые ученые тщательно раскапывали и разбирали все отличия между тем и другим.

Все это глупость или адвокатство. Действительной разницы нет не только между рабом и вилланом [74], но между рабом и современным, как его титулуют, — самодержавным я великодушным» народом. Если человека бьют и обижают, то все равно, под каким бы названием он ни терпел эти операции. Признают ли его крючкотворцы в своих мараниях вещь или свободную личность, бесправным или равноправным, как скоро он бит и

обобран, то не может быть никаких рассуждений: он раб, раб именно в смысле древнего мира, т. е. побежденный враг.

Средние века судились различно: поэты восхищались ими и воспевали рыцарей и их подвиги; люди серьезные и напыщенные своим прогрессом ужасались их варварству. Картина была, правда, не красивая, и две главные язвы человеческих обществ — лихоимство и рабство слишком открыто красовались на ничем неприкрытом общественном организме. В это время первый раз люди с грустью заметили, что они друг для друга — волки. Но такой наглый повальный грабеж едва ли не лучше предшествовавшего и последующего порядков. Конечно, при недостатке организации грабежа и лихоимства нередко лихоимствовали и грабили до того, что во Франции, в конце царствования короля Роберта, на площадях появлялось в лавках человеческое мясо. Не красиво, конечно, общество, где существует Wildfangiatrecht — право на пойманную дичь, — так называлось право, существовавшее в Фальце, по которому каждый владетель мог охотиться за всеми прохожими по его владениям, как за дичью, и, поймав, обращать их в рабство. Но такая откровенность безобразия имеет свои хорошие стороны уже потому, что зло никогда не признается законным, а всегда только терпится, как печальный факт, и люди принуждены постоянно упорно искать себе выхода.

В обществе, представлявшем такую картину, образовалось два различные стремления. Одни хотели устранить все, что в картине этой было слишком циничного и неблагопристойного, систематизировать грабеж, дать легальную форму насилию и организовать взаимное самопожирание правильным образом. Этого стремления придерживались все практические, умные и преподлые люди, и ум и подлость их, разумеется, одержали верх. Они достигли своей цели, и созданные этим стремлением нынешние формы общества основаны именно на организации социальной борьбы, систематизации грабежа и легализации рабства.

Представители этого направления чрезвычайно многочисленны, и знаменитейшие из них приобрели себе громкие имена, как основатели тех условий, в которых живут нынешние общества. Это — короли, соборы, университеты, юристы, города, словом, все почтенное, славное, высокое. Они часто борются между собою, по-видимому действуют в совершенно противоположных направлениях, по-видимому исключают и губят друг друга. Но все это лишь по-видимому. На самом деле все они более или менее трудятся над одним делом обращения варварского общества в цивилизованное без изменения коренных основ его.

Доктора богословия и прав сочиняют теории из фактов, представляемых им обществом, приводят эксплуатацию в систему, дают грабежу санкцию религии и науки. «Грабьте отныне правильно, и можете не краснеть и не подвергаться такому риску, какой представляет жизнь наивного грабителя с большой дороги».

Короли сокрушают силу феодального разбойничьего рыцарства. Каким образом? Уничтожая разбой? Нет — организуя его. В числе разбойников, опустошавших в средние века все страны, были некоторые особенно страшные. Тогда как обыкновенные рыцари грабили каждый за себя и для себя и подкарауливали прохожих по своим владениям, другие занимались грабежом в более обширных размерах и правильнее. Они составляли шайки, которые, под названием «черных шаек, кондотьеры [75], брабансонов» и др., грабили и

опустошали все страны. Это были страшные разбойники, и, в сравнении с этими странствующими толпами грабителей, разбой владельцев замков был шуткой. Но в общем мнении они вовсе не считались хуже рыцарей, а только страшнее. Подвиги их громко воспевались, многие короли и герцоги заискивали их услуг; в Италии они свергали и возводили династии, и очень часто делались сановниками, графами, владетельными князьями. Оно и понятно; они делали то же, что и все рыцари, по только сообща, с некоторой уже системой, так что были гораздо вреднее.

Короли воспользовались зачатком организации, какую представляли эти разбойники, и, охотно прибегая несколько веков к их услугам, кончили тем, что окончательно соединили с ними свою судьбу, дали им правильную организацию, постоянное жалованье, определили на государственную службу, которую в то время изобретали в сообщничестве с юристами, и сделали из них постоянные войска. Помощью их они разделались с феодалами.

О церковном грабеже и говорить нечего. Он с самого начала имел за себя и санкцию, и порядок; в теории и в системе у него никогда не было недостатка. Хлопотать о его узаконении много не приходилось.

Таким образом из бесцеремонной шайки хищников, обдирал, разбойников, грабивших в силу своего кулачного права и не помышлявших ни о каких теориях, политика королей, религия пап и паука юристов выработали трех главных представителей, три столпа современного общества — солдата, продавца индульгенций и палача, во всем их благочинии, во всей их законной помпе, во всем величии их сана.

Грабеж и лихоимство организовались — практики победили. Историки прогресса называют это началом нового времени, восходом солнца цивилизации над ночью варварства!

Историкам прогресса очень хорошо знакомы все факты, на которых можно бы, казалось, основать правильный и истинный взгляд на вещи. Но им не до того: они подавлены несчастной, односторонней мыслью показывать, как развивался в человечестве прогресс к добру. Они зазубрили себе на носу выдуманное каким-нибудь глупцом правило, что все, что ни делается, все к лучшему, и, руководствуясь этой *idée fixe*, радуются и рабству, как первому следу гуманности, и грабежам феодалов, как зародышу личной свободы, и войнам, как средству распространения цивилизации. — Словом, нет той мерзости, в которой они не нашли бы чего-нибудь хорошего и не порадовались. Вот истинно нищие духом, довольствующиеся всем, что ни дай им, хотя бы каплю розового масла в бочке грязи!

Но еще в XVII веке один писатель, приверженец Стюартов⁷⁶, королей божьею милостью, и их абсолютного, божественного права, изложил истинный взгляд на смысл европейской истории. Теория его основывалась не столько на исторических фактах, сколько на взгляде его на природу человека и на силу его диалектики. — Логика его была так непобедима, что о нее разбились все двухсотлетние усилия озлобленных либералов, и теория его стоит доселе, обходимая, предаваемая забвению, но неопровергнутая. Дело, конечно, не в диалектике, а в том, что этот писатель прав, как перед судом логики, так и истории.

— Я ваш! — (таков был смысл его похвал деспотизму), да и как мне не быть вашим? Посмотрите, как создалось общество, в котором мне довелось жить: началось с общего взаимного пожирания. Варвары, уничтожившие римскую империю, представляют нам естественное состояние людей, не вымышленное, не идиллическое, а настоящее. Они только что вышли из лесов: смотрите, это еще не общество, а толпа. Толпа эта управляется потребностью каждого бороться за свое существование. Поэтому каждый грабит всех и каждого, кого может, а если не может никого, то его самого грабят. Homo homini — lupus[7]! Затем смотрите, как из этой толпы составляется общество, государство. Вы думаете, что устранением старой борьбы, созданием солидарности интересов, уничтожением эксплуатации? Нет, все остается на старых основаниях, только приводится в систему, имеющую целью уменьшить риск грабителей, обеспечить им мирный способ эксплуатации и безопасное пользование добычей. Сдал ли человек для человека братом? Нет, по-прежнему волк, но волк прошколенный и дрессированный, а не безумно смелый и дикий, как прежде. Я сам принадлежу к волкам, я сам из числа эксплуататоров и лихоимцев; и живу спокойно и безопасно, не пачкая рук кровью, не подвергаясь риску: этим и обязан систематизации грабежа, представляемой нынешним порядком вещей. Могу ли я отказаться, следовательно, от вас, когда, благодаря вам, я могу безнаказанно грабить и разбойничать, сидя спокойно в кресле, у приветливого камина. Нет, я хочу продолжать свой грабеж, и потому мне нужны ваши солдаты, ваш продавец индульгенций, ваш палач. Нет, я волк, и вы мои заступники; и потому, Mitwölfe {8}, я ваш, как бы вы от меня не отмахивались!"

Вот сущность того, что говорит Гоббс [77], этот великий ум, который понял верно смысл истории европейских обществ и, как Маккиавелли, удостоился ненависти тех, кого, по-видимому, защищал!

В средние века должно было обнаружиться и действительно обнаружилось еще другое направление. Рядом с позитивистами и реалистами Лувра, Сорбонны и Ватикана были и утописты, бедные мечтатели, люди непрактичные и сумасбродные. И здесь, как в Риме, являются несносные отщепенцы, с теми же признаками, с той же печатью отвержения на лбу.

Но нужно и их судить справедливо. По правде сказать, мир был так обманут, что протест имел полное право заявиться. Рим пал, империя исчезла с лица земли, христианство распространилось по всей земле, — но из всего этого ничего не вышло. Все будто хлопотали главным образом из-за того, чтобы заменить свободой, равенством прежнее насилие, лихоимство и войну. Совершился катаклизм, потрясся весь мир, новые племена заняли место древних пародов, рушилась религия, — и что же? Гора родила мышь. Насилие и лихоимство господствовали по-прежнему, как ни в чем не бывало, как будто все это их не касалось, как будто вовсе и не было никогда сказано: «Блаженны алчущие, горе сытым!» Какое разочарование!

И вот новый мир, едва создавшийся, уже видит среди себя отщепенцев от себя, людей недовольных им, обвиняющих его в возвращении к старому, в обмане, в забвении истины.

В церкви была в то время сосредоточена вся духовная жизнь общества. Притом церковь была основана на том, во имя чего должен был совершиться переворот, в ожидании

которого обманулись. Вот почему протест против нового мира вышел из церкви и прежде всего обратился против нее. Отщепенцы от общества были прежде всего сектаторами, еретиками.

«Нам обещали, что не будет ни рабства, ни лихоимства», — говори ли люди и обвиняли церковь в подлоге и в ереси.

Двенадцать веков, один за другим, безостановочно поднимались эти протесты, всегда кроваво подавляемые, но возвращавшиеся постоянно снова с удивительным однообразным во внутреннем смысле и значении. Что же касается внешней формы их, то, конечно, спор шел большей частью о таких пустяках, что ожесточение, с которым одни преследовали, а другие упорствовали, будет совершенно непонятно, если за этой мелочной внешностью не видеть серьезного социального содержания.

Сам Иннокентий III [78], учредитель инквизиции и зачинщик религиозных войн, соглашался, что первая причина раскола — испорченность духовенства. До него другой великий папа, Григорий VII [79], считал возможным спасти христианство только совершенной реформой не только церкви, но и всего общества. Для обоих было очевидно, что дело не в личных недостатках некоторых духовных особ, а вообще во всем строе церкви.

Действительно, недостатки эти были так велики, что нельзя было не видеть их и не сознаваться в них даже папам.

В XI веке сама церковь признала это: реформа Григория VII имела в виду полное преобразование не только церкви, но и всего средневекового общества. Он был возмущен современным ему порядком и тем разногласием, какое видел между ним и основными положениями христианства. Папа этот был один из величайших революционеров. — Письма его напоминают речи французских якобинцев. «Кто были первые короли? — писал он, — люди насилия, люди, опозорившие себя всевозможными преступлениями по внушению дьявола, чтобы приобрести господство над подобными себе». — Он ненавидел церковную мораль, превратившуюся в финансовую спекуляцию для прокормления тунеядцев, и жестоко преследовал лихоимство и продажность духовенства.

Старик этот объявил войну всему обществу. Сперва духовенству он предъявил требования, казавшиеся неисполнимыми, чудовищными, возмутительными. Он требовал, чтобы оно отказалось от всяких денежных выгод, которые привыкло извлекать из своего положения, покинуло свои семьи, свое общественное положение, как феодальной аристократии, и возвратилось бы к чистоте первобытного христианства. Григорий VII отнесся к католицизму, как сектаторы IV и XVI веков: он отлучил современное духовенство от церкви, т. е. другими словами, сам отложился от современной церкви. Духовенство, возмущенное неслыханным посягательством, объявило папу еретиком, отлученным и низложенным. Против Григория поднялся анти-папа, за которого была почти вся церковь. Борьба была неравная. Григорий изнемогал и желал смерти. Его смелые желания казались неосуществимыми, и гибель его неизбежна.

Но безумный старик, не довольствуясь, что вооружил против себя все духовенство, смело вступил в борьбу и со светским порядком, развратившим церковь. Отлученный, низложенный, он не только не искал опоры себе в светской власти, но ни минуты не поколебался восстановить ее против себя и вступить в смертельную борьбу с императором. На что же рассчитывал он, восставая один против всего, что было сильного и авторитетного?

Как все отщепенцы, он обратился к демократическим началам общества. Он кликнул клич к пароду, задавленному и ограбленному. Он пробудил его от долгого сна, дав ему почувствовать беззаконие лежавшего на нем ига. Он запретил ему обращаться к недостойному духовенству и этим вызвал в нем озлобление против продажных представителей церкви. По одному знаку его, народные массы гнали вон низложенных им епископов. Он встал на сторону ограбленных императором саксонцев и поднял против Генриха его подданных.

То торжествующий, то побежденный, Григорий видел императора у ног своих, видел врагов своих низвергнутыми, но видел и торжество грубой силы, разбойничьих орд Генриха, был изгнанником, беглецом. После непрерывной и геройской борьбы он умер, говоря: «Я любил истину, ненавидел неправду, и потому умираю в изгнании». Его железная воля могла унижить императора, могла даже победить старые формы и, по крайней мере во внешности, добиться своего. Но истинного преобразования церкви и общества он не мог достигнуть и умер в сознании своего бессилия, разочаровавшись во всем, кроме правоты своего дела. Революционер сам, он имел своими преемниками инквизиторов. Друг народа, — он оставил свое наследство деспотам и грабителям. Мечтатель, имевший безумие отрицать лихоимство и насилие, он был предшественником практиков, обративших награды и наказания загробной жизни в предмет торга и спекуляции.

Но, конечно, настоящими предшественниками и преемниками Григория VII были не те, кто до и после него занимал римский престол, не Иоанны XII [80] и не Александры VI [81]. У него был другой ряд предков и потомков, ряд достойный его, ряд таких же благородных мечтателей и людей несокрушимой воли, таких же врагов установившегося порядка, как и он.

Этот ряд начинается тотчас по утверждению христианства, как господствующей религии. Еще в IV веке являются донатисты [82]. Спросите богослова, откуда явилась эта секта? Он скажет вам, что ее вызвало неправильное избрание одного африканского епископа. Но историк судит иначе: донатисты — это анабаптисты [83], жаки [84], санкюлоты [85] IV века. Секта донатистов — восстание рабов.

Когда, после упорной борьбы с язычеством, христианство восторжествовало, надо было ожидать полного преобразования общества на идее равенства, любви и свободы. Но крест победил, а все осталось по-старому. Христианство не принесло рабам свободы, угнетенным спасения, ограбленным избавления, голодающим хлеба. «Горе богатым и сытым!» — говорила религия. Но вот она победила, а богатые по-прежнему лихоимствуют, сытые по-прежнему отнимают последний кусок у голодающих. Те, которые ждали себе спасения от новой религии, почувствовали это противоречие и разлад слов с делами. Это вызвало

страшное негодование, увлекло многих в странные крайности. Все, кому было плохо, видели себя обманутыми и обвиняли господствующие классы в фальсификации христианства, в извращении его, в богоотступничестве!

«Новая вера обещала спасение, но спасение не пришло. Неужели виновата вера? Нет, евангелие свято и божественно, а виноваты те лицемеры, которые вместо евангельского христианства дали людям прежнее язычество в новых формах, старое вино в новых мехах. Ведь язычество было религией рабства: оно освящало, узаконяло и поддерживало насилие и лихоимство. Христианство — благая весть, потому что возвещало свободу и братство, осуждало грабеж, сулило царство униженным, кару деспотам и ростовщикам. Но та религия, которую выдают за победившее христианство, подобно язычеству проповедует насилие и грабеж; подобно ему освящает лихоимство; следовательно, религия эта не заповедь Христа; следовательно, члены ее — лицемеры, переодетые язычники, преступники, уличенные в искажении божественного слова!»

Мы удивляемся теперь мелочности поводов, возбуждавших разногласие католичества с его сектами. Нам кажется странным, что какой-нибудь текст мог служить причиной разрыва и борьбы. Но мы не видим, что и нам самим приходится во многом поступать точно так же.

Сектаторы обвинили католицизм в искажении христианства, и спор, сущность которого состояла в социальных вопросах, нередко вращался около догматов и сводился к богословским тонкостям. Но разве не то же самое все новейшие учения препирательства, происходящие в области философии, права, естествознания? Нас удивляет, что вопрос о первородном грехе мог возбуждать столько толков, столько интереса, столько ожесточения. Но взятые сами по себе все наши научные вопросы разве могут претендовать на большее значение? С точки зрения не относительного, а абсолютного значения вопроса, разве споры о свободе человеческой воли, о теории государства, о праве общества лад жизнью человека, о происхождении видов — смеют ставиться выше спора о предопределении или о предстательстве святых? Спорить о происхождении видов! Какое варварство, какая гнусность! Разве деспот низвергнут, разве лихоимец наказан, разве голодный накормлен, разве уничтожена эксплуатация, обуздано насилие и грабеж, дарована свобода? Разве все эти кровавые, жгучие, смертельные вопросы, осаждающие всех и каждого от зари до зари, всякий день, всюду и во всем — разрешены и удовлетворены? Разве зажат рот лжи и тупоумию, устранены на веки ужасы общественной анархии, водворены спокойствие и порядок? Нет, нет, тысячу раз нет!

Направо и налево, здесь и там, всюду людей убивают, мучат, давят, лишают свободы, морят с голоду, обирают, — а мы спорим о происхождении видов! Что это? Немилосердная жестокость сытого брюха или непонимание идиота? Наглость ума, извращенного оргиями насилия, или крайний разврат совести, погрязшей в лихоимстве? У многих, к сожалению, — и то, и другое.

Но часто все эти вопросы, столь непристойные, по-видимому, среди общего плача и скрежета зубов, только прикрывают собой более жизненные. Оттого-то споры о них ведутся с таким одушевлением, с таким жаром, с таким фанатизмом. Конечно, слово не дело; лучше, по примеру Христа, гнать торгашей и негодяев из храма, чем тратить время на споры с

ними. — Но гнать их могут только соединенные усилия общества, а частным людям приходится поневоле ограничиваться словами. В XVIII веке споры шли на всех бесчисленных пунктах знания и религии и велись не даром: пришло, наконец, время, когда можно было начать делать дело, и тогда словесные препирательства стали неуместны. «Республике не нужна наука», — сказал судья, судивший Лавуазье, и был прав, потому что республика эта еще ничего не сделала в важнейших вопросах человечества и потому не имела права на науку.

Но в IV веке круг умственной деятельности был слишком тесен и сосредоточивался исключительно в религиозных вопросах. Поэтому споры поневоле ограничивались тем или другим католическим догматом и, как теперь, часто за этой внешностью вовсе пропадало внутреннее значение споров. Социальный вопрос, прикрытый богословским, часто вовсе забывался, и оставался только богословский. Средние века имели своих академиков, профессоров и ученых писателей, с тою только разницей, что препирались они не о происхождении видов, а о предопределении, и вместо микроскопа были вооружены крестом и облатками.

Но часто также дело выходило за пределы богословского диспута. Донатисты не заботились о тонкостях догматики; они знали, что им была обещана свобода и что свободы этой они не получили. Поэтому они объявили войну на жизнь и смерть сильному и властвующему. Циркумцеллионы, как их называли, т. е. бродяги вокруг домов (*circum cella* {9}), — ходили из города в город, истребляли богатых, проповедывали равенство и коммунизм и беспощадно мстили притеснителям, сказавшим слово божие. Последователи Карпократа и Евстафия [86] хотели общинности имущества и уничтожения семьи и брака. Крайняя секта Каинитов возвела в высшую добродетель все то, что презиралось и преследовалось обществом, как величайшее преступление. Каиниты — римские Лассенеры. Они доказывали законность и святость убийства и войны с обществом всеми средствами. Идеалом их был первый преступник Каин.

Конечно, нельзя верить всему, что католические писатели рассказывают о сектаторах первых веков. Известно, как бессовестно и тупоумно клеветали на христиан язычники, пока были в силе, и впоследствии паписты на вальденцев, альбигойцев и других еретиков. Однако весьма может быть, что в первое время христианства отщепенцы от церкви доходили до гораздо больших крайностей, чем первые христиане и последующие сектаторы. Дело в том, что христиане были полны веры в свое учение, ожидали от его торжества полного преобразования мира, не сомневались в своей победе и потому не имели ни разочарования, ни ожесточения против врагов своих, которых считали скорее достойными сожаления заблуждающимися несчастными, чем преступниками. Точно такая же вера одушевляла и позднейших еретиков, предшественников реформации. Но сектаторы первых времен были полны разочарования и негодования на обман и измену христианству.

Церковь и государство обратили против еретиков все свои силы. Но пока власти занимались их истреблением, для них самих настал последний час. Лихоимство и насилие нашли наконец себе достойное наказание. Варвары уничтожили империю, и на несколько веков водворился хаос, пока из нахлынувших диких орд вырабатывался новый общественный порядок. Мы уже видели, каков он был; мы говорили уже, что новое общество, как и старое,

основалось на грабеже и эксплуатации и что сама католическая церковь совершенно усвоила себе эти основания и развивалась совершенно на тех же началах, как и все другие общественные элементы. Безуспешная попытка исправления Григория VII не помогла делу: папа потерпел неудачу, и практики восторжествовали.

Но если даже с высоты римского престола раздался наконец протестующий голос, то тем более должны были найтись протестанты и отщепенцы в низших сферах общества. Действительно: начиная с XI до XVI, история показывает нам бесконечную вереницу ересей и постоянную борьбу с ними церкви и общества.

В самом начале XI века церковь начинает жечь во Франции так называемых манихеев [87]. Они проповедуют против суеверий, распространяемых церковью, отвергают главнейшие ее догматы, а главное, живут скромно и бедно, ненавидят и избегают торговлю, ведущую к лжи и обманам, живут трудом рук своих, как работники, и даже священники их занимаются ремеслами. Они довольствуются малым, отвергают богатства, постоянно работают и учат; на молитвы они не тратят времени, следуя правилу: кто работает, тот молится.

За ними в XI, XII и XIII века являются одни за другими катары [88], вальденцы [89], лионские бедняки, альбигойцы [90]. «Истинная церковь только в нас, — говорили катары, — мы одни следуем Христу, одни живем по апостольски. Мы не ищем благ сего мира, не владеем ни домами, ни землями, ни деньгами, потому что Христос сам ничем не владел и запретил ученикам своим иметь собственность. А вы наживаете дом за домом, землю за землей, лихоимствуете и крадете. Мы же, бесприютные бедняки, ходим из города в город, как овцы среди волков, терпим гонения, как апостолы и мученики».

Вальд, богатый лионский купец, вошел однажды, как рассказывают, в церковь и услышал слова евангелия: «Если хочешь идти за мной, раздай все имение свое бедным». Он немедленно продал все свое имущество и разбросал деньги в грязь, в знак глубокого презрения своего к ним.

Лионские бедняки не имели ни собственности, ни пристанища; они ходили всюду, проповедуя правила чистою христианства.

Наконец, среди всех этих сектаторов, сжигаемых и истребляемых всячески с дикой яростью, встречаются имена таких людей, которых церковь не могла объявить прямо еретиками и даже признала святыми, хотя, впрочем, всегда с неудовольствием смотрела на серьезное проведение в жизнь их правил. Таков был св. Франциск Ассизский [91], который говорил своим ученикам: «Братия! Бог призвал меня идти путем простоты и смирения за безумием креста и сказал мне: Франциск, я хочу, чтобы ты был в мире безумцем и проповедывал бы речами и делами безумие креста». Вот слова настоящего отщепенца, врага практической лихоимствующей и насилующей мудрости, человека, желающего правды и свободы и брошенного в общество, где правда и свобода считаются безумными бреднями, где высшей мудростью признается бесконечный ряд цепляющихся друг за друга компромиссов.

Франциску Ассизскому не посчастливилось еще более, чем Вальду. Последователи Вальда погибли на кострах инквизиции и в пожаре разоренного Лангедока; последователи

Франциска обратились в толстых, бесстыдных, грязных монахов нищенствующих орденов и своей жадностью и развратом еще хуже опозорили и без того уже опозоренный католицизм.

В следующих веках протест не умолкает, несмотря на все злодейства и ухищрения духовных и светских властей. Являются английские лолларды [92] и богемские иоанниты [93], Виклеф [94] и табориты [95]. По примеру своих предшественников, они вооружаются против грабежа, господствующего в обществе. Виклеф проповедует против лихоимства церкви. Народ, возбужденный его учением, предводимый Уатом Тайлором [96] и лоллардскими проповедниками, восстает против королевских чиновников и подступает к резиденции короли. Ричарда [97] спасает только изменническое убийство народного вождя; преемники его казнят лоллардов массами. Генрих V [98] устраивает общего резню их; они погибают, но через двести лет воскресают в пуританах и индипендентах. Все они стремятся ниспровергнуть тиранию, уничтожить разврат сильных и богатых и водворить порядок на справедливости, равенстве и свободе.

То же самое происходит и в других странах. В Богемии иоанниты проповедуют евангелие Св. Иоанна, как они называли учение о свободе и равенстве. И здесь также, под видом богословского, догматического разногласия, идет борьба бедняка против богатого, честного против подлого, угнетенного против деспота, сына и младшего брата против отца и старшего брата, работника против лихоимца, слуги против хозяина.

Богемские еретики, восставшие мстить за казнь Гусса [99], говорят языком пророка Самуила и папы Григория VII. Когда народ требовал низложения Венцеслава, один проповедник стал защищать его: «Братья, — сказал он, — хотя король наш тунеядец и пьяница, но где же найти лучшего? Напротив того, его можно считать образцовым государем: мы сильны его слабостью. Помолимся же господу о его здравии и пропоем ему многие лета!» И народ с хохотом подхватил: «Многие лета!»

Несмотря на победы Чишки и Прокопов [100], движение таборитов было подавлено. Но народы европейские, как некогда народ иудейский, постоянно высылают из среды своей храбрых Гедеонов и могучих Сампсонов [101]. Немудрено, что в эти времена борьбы угнетенных против организованного грабежа взоры восстававших с любовью обращались к этим поэтическим образам Ветхого Завета, что у всех были на устах речи Самуила и Исаи и рассказы о подвигах вождей народа божьего против безбожных филистимлян [102]. Удивительные примеры книги Судей были у всех на глазах. Чуть не каждое поколение имело своих Навинов и Сампсонов. Напрасно тираны изменчески убивали Тайлоров и Гуссов: продолжатели их не заставляли себя ждать, и борьба, подавленная на минуту, вспыхивала с новой силою, пока не разразилась наконец громовым ударом в движениях XVI века.

Движения, сопровождавшие реформацию, были последним великим проявлением борьбы в религиозном духе. Поэтому в них всего сильнее и полнее выразился смысл всех сект. Тома Мюнцер [103] был последним сектатором и высказал все задушевные мысли своих предшественников.

Таким образом, по мере того, как грабеж все более и более развивается и возводится в систему, протесты против него раздаются все громче и громче. Выйдя из веков грубого

насилия, из бесцеремонности кулачного права, общество должно было содрогнуться от ужаса, взглянув на себя. Так вот к чему привели целые века исторической жизни! Так вот идеал, о котором мечтали люди, измученные вечной войной! Нечего сказать: было на что порадоваться!

Духовенство, с папою во главе, торгует святыней, утопает в разврате и тянет деньги с правого и виноватого, — духовенство невежественное, тупое, жестокое, без веры, без всякого другого отношения к обществу, кроме обирания его. С ним рядом громадное скопище убийц по ремеслу тунеядствует, грабит и не имеет другого назначения, кроме самозащиты и защиты своих атаманов и приживалок их — аббатов, юристов и торгашей. Вот что представляли собою государства XIV—XVI столетий, государства, основанные и державшиеся фальшивою монетою, фальшивым правом, фальшивыми декреталями [104], фальшивою наукою и союзом с разбойниками против мирных граждан, с арманьяками [105] против Жаков, с ландскнехтами [106] против крестьян Франконии [107] и Швабии [108]! Государства — воплощенные противоречия, где анархия считается порядком, добыча грабежа — собственностью, а все бесчестное, нелепое и насильственное — священным, разумным и справедливым!

Практики видели это и мудро решали, что нужно совершенствовать и преобразовывать. Но что же совершенствовать? Насилие и лихоимство? Кроме того больше ничего не было. Какие возможны реформы? Что преобразовать? Все практики, от Филиппа IV [109] до Лютера, от преобразователя государства до преобразователя церкви, занимались только совершенствованием эксплуатации и узаконением грабежа. От вымогательства силою перешли к мошенничеству подделкою денежных знаков; от финансовой системы Филиппа Красивого к финансовой системе Филиппа Орлеанского [110]; от обмана к обману, от надувательства к надувательству, и рядом банкротств, ликвидаций и революций пришли к Наполеоновской империи, к оборотам Фульда, к пес plus ultra {10} воровской ловкости!

В других отношениях реформы шли также непрерывно и успешно. От абсолютизма переходили к Конституциям, от конституций к республикам, от аристократии к буржуазии и демократии; от папского авторитета к лютеровскому и от лютеровского к гегелевскому. Все эти реформы прославлены, возвеличены, как будто к чему-нибудь привели, кроме того, что изощрили ловкость плутов и заменили лом подпилком.

Мюнцер представляет пример человека, понимавшего нелепость и бесплодность этих реформ. Он и современные ему люди этого направления решительно отложились от практики доктора Лютера, доктора Лгуна, как они его называли. Они видели, что его пресловутая реформа не стоит гроша, потому что вовсе не касается главнейших язв современного общества. Они разошлись с ним, стали отрицать все то, на чем он строил свои реформы, и сделались отщепенцами не только папской, но и лютеранской церкви, не только злоупотреблений, но и порядков государства.

Никто лучше Мюнцера не выразил истинного смысла отрицания. «Надо искать веры в неверии, неба в аду», — сказал он; другими словами: чтобы верить, надо отрицать, чтобы строить, надо разрушать, чтобы любить, надо ненавидеть.

Он высказал решительно то, чего всегда хотели и что всегда проповедывали все сектаторы и отщепенцы, во имя чего они отрицали современные общества. *Omnia simul communia* {11}, все должно было быть общим, и каждому по потребностям его: таков был его коренной принцип, во имя которого он восстал против грабителей и лихоимцев, против их защитников и прислужников.

«Наши князья и господа, — писал он, — рассол лихоимства, воровства и разбоя. Они все забирают себе в собственность: рыб в воде, птиц в воздухе, растения на земле; все принадлежит им. И для оправдания своего явного грабежа, они толкуют беднякам о заповеди Божьей, говоря: Бог повелел не красть! Но до них эта заповедь не касается. Они обируют и грабят бедных поселян, рабочих, словом, всякого живого человека. А других за малейшую провинность вешают, и доктор Лгун приговаривает: „Аминь“. Поэтому и говорю прямо, что хочу восстать и восстану».

«Встаньте, встаньте, встаньте!» — писал он рабочим в рудокопнях Мансфельда. «Пора! злодеи оробели, как псы. Зовите братьев, ведите их сюда, потому что мера переполнилась! Встаньте, встаньте, встаньте! Не склоняйтесь на милосердие, если Исав будет задобривать вас добрыми словами (Быт. 33). Не обращайтесь на плач безбожных, не щадите их, когда они станут умолять вас и рыдать, как дети, ибо Бог так повелел Моисею [111] и то же заповедал нам. Да не остынет меч ваш в крови!»

К самим тиранам он обращается так: «Да трепещет злодей!» (Рим. 2).

«Так-то злоупотребляешь ты, тиран, словами апостола? Ты думаешь доказать законность злодейской власти, подобно папам, которые обратили св. Петра и Павла в палачей?! Но неужели ты не подумал, что Господь во гневе своем может, наконец, возбудить неразумный народ низвергнуть тебя!»

«Не о тебе ли и тебе подобных сказано (Лук. 1), что Господь унижит гордых и возвысит униженных, которых ты презираешь? Не видел ли ты в своей лютеровской каше или виттенбергской похлебке, что пророчит Иезекииль [112] в 37 гл.? Не видел ли ты хоть в мартиновской пачкатне, как говорит этот пророк, в 39 гл., о том, что „Бог прикажет всем птицам небесным пожирать тело князей“. „И дикие звери будут пить кровь великих мира сего“ (Апок. 18 и 19). „Проклят, — говорил он духовенству, — кто проповедует миру сладкого Христа, потворствуя грязным поползновениям богатых. Вы говорите, что достаточно быть добрым христианином, что вера обойдется и без дел. Фу, фу, книжники и фарисеи проклятые, какую вы подлость несете! Вы убийцы и воры, потому что не печалите, не огорчаете, а веселите и утешаете“.

„Справедливо говорит Иезекииль, что сердца проклятых превращаются в камень, как, напр., у пасторов и у подобных им (у юристов); они читают свои книги и самодовольно говорят: мы мудры и знаем закон Господа. Они, как журавли, ходят по лугам и с алчностью глотают лягушек из луж и потом изрыгают их в гнезда своим птенцам. Они, эти псы, пожирают целиком тексты, но неспособны понять их. Ах, ах, не втолковать им истины, не возьмут они ее в толк (*Ah, ah, frangere non possunt!*) {12} Увы, увy, они проповедуют, как Валаам! [113] — Божье слово на устах, но от сердца далеко“ (*Oh vae, vae et in aeternum vae, instar Balaam*

praedicatoribus!){13}.

Эксплуататоры рассуждали иначе. „Прошу вас, друзья, мужественно сразиться с этими злодеями и убийцами“, — говорил своим ландскнехтам Ландграф Гессенский перед Франкенгаузенем. Сам бог заповедал почитать власти, ибо Павел говорит: противящийся властям наказан будет, потому что всякая власть от бога. Я говорю вам это не с тем, чтобы унижать крестьян, а потому что это правда. Я знаю, что мы часто заслуживаем наказания, потому что мы люди и часто грешим; но восстание все-таки недопустимо. Бог приказывает почитать власть, а когда же можно воздать ей большую честь, как не тогда, когда она в ней больше всего нуждается? А власть всего больше нуждается в чести, когда унижена или когда совершила проступок; и подданные должны помочь ей нервности свой позор, почтить и прикрыть, как Сим прикрыл Ноя, дабы остаться в мире и согласии. — Крестьяне платят небольшие подати, за то могут жить спокойно, кормить и воспитывать детей; подати налагаются для их же спокойствия. Скажите, кому от них польза, как не самим же подданным?»

Но не только князья и военные предводители, а и сам Лютер утверждал, что "уничтожить крепостное право — дело противоевангельское и разбойничье, потому что грабеж — лишать господина владения человеком, принадлежащим ему, как собственность. Сам Авраам [114] и другие патриархи имели крепостных, и Павел пишет (Гал. 4), что «господин и раб во Христе нераздельны».

Таким образом самые вопиющие насилия и безобразия находили себе и тогда очень красноречивых и почтенных защитников. Лютер, не побоявшийся еще недавно пойти по следам Гусса, по дороге, приводившей доселе всех, кто шел по ней, к костру, доказывал доводами и примерами законность рабства и незаконность его уничтожения! Он стоял за священные права собственности так же горячо и твердо, как нынешние демократы и либералы, и находил, что уничтожать рабство — просто разбой! Ландграф Гессенский был также государь либеральный и просвещенный; его речь даже мягче и не так явно нелепа, как проповедь Лютера. Он допускает, что власть может погрешать; он не говорит, что князья имеют абсолютное и священное право обирать народ; напротив того, он указывает как на вещь нормальную и справедливую, что народы платят для собственной пользы, выражая этим правило новейших либералов: правительство для народа, а не народ для правительства. Все, чего он просит и желает, — он, владетельный князь и главнокомандующий, — чтобы народ не ставил ему всякую строку в лыко, не упрекал бы его за всякую несправедливость, но прикрыл бы великодушно его наготу, когда ему случится обнаружить ее перед другими. Чего умереннее? До сих пор еще либеральные парламентские ораторы всегда громко не одобряют то, что они называют *déconsidération du gouvernement*{14}, унижение правительства в общественном мнении, — что совершенно то же, что нелестное для правительств сравнение Ландграфа.

Но все эти доводы, очень основательные в глазах тех, кому более выгодны, казались народу и его вождю такими же бессмысленными и бессовестно-глупыми, какими кажутся нашим современникам речи, писания и проповеди либеральных консерваторов и консервативных либералов.

Новомодные либералы с ужасом и негодованием рассказывают о жестокостях церковных властей против сект и сектаторов. Действительно, мартиролог сект несравненно богаче мартиролога церкви даже со всеми ее 11.000 замученных дев и таким же количеством умерщвленных детей. Гонения христиан при императорах могут показаться временами кротчайшей гуманности и просвещенной веротерпимости в сравнении с преследованиями еретиков церковью. Прославленные злодеи императорского Рима не казнили и двадцатой доли того, что истребили благочестные короли Испании и Франции. В ряду палачей человечества имена Сигизмунда [115], Филиппа II [116] и Людовика XIV [117], Иннокентия III и Пия V, Торквемад [118], Альб [119], Гизов [120] и других подобных страшилищ стоят далеко выше всевозможных Фаларидов и Антиохов, Неронов и Лициниев [121] древности. Индейские туги, знаменитые ассасины, корсары Алжира и турецкие янычары погубили меньше жертв и были великодушнее христианских монахов св. Доминика [122] со святою инквизицией, были человечнее страшных палачей в кардинальских шляпах и герцогских коронах, которые заседали в советах наихристианнейших и наикатолических королей. Сибарисский бык, иллюминация нероновских садов, сивашская расправа Тамерлана [123] помрачены мадридскими *auto de fé* [124], эшафотами Гревской площади [125], штурмом Магдебурга. Только невероятные летописи персидского двора могут дать понятие о тайнах Версаля [126] и Сент Джемса, Ватикана и Эскуриала [127].

Черная, густая тень бесконечного ряда страшных преступлений покрывает страницы церковной истории. Что ни год, то где-нибудь во имя ее льется потоками кровь «*ad majorem Dei gloriam*» [16]. Римское духовенство дошло наконец-то до того, что историк затрудняется, кого скорее признать в рясе — ростовщика или палача. Свершились факты, до того чудовищно нелепые, что самое смелое воображение не могло бы выдумать ничего подобного. Монашество, основанное некогда отщепенцами общества, монашество — приют людей, бежавших в безлюдные степи от жестокостей и разврата лихоимствующего и палачествующего общества; монашество столпников [128], порожденное чувством святым и законным при известных условиях, чувством знакомым и мудрецам Индии, и европейским пророкам, и стоикам Рима, и обманутым жизнью благородным героям наших времен, — монашество, последнее слово философии всех времен и последнее прибежище честного человека во времена повальной подлости, — монашество, кто бы поверил этому? — обратилось в шайку лихоимцев, мало того, в палачей! Вот до чего доводит неумолимая логика истории.

Когда основание истинно, то логика приводит к правде, иногда так скоро и неожиданно, что блеск этой правды поражает людей удивлением, и они благоговейно преклоняются перед ней. Или же, когда ложь лежит в основании жизни, то логика вдруг раскрывает перед нами такую бездонную пропасть неправды и зла, такое невероятное извращение всякого смысла, что мы в отчаянии спешим закрыть летописи человечества, которые являются нам в эту минуту медицинским свидетельством в его неизлечимом умопомешательстве.

Никакая святость, никакие добродетели членов католической церкви не искупят ее прошлого, не оправдают ее инквизиции, ее кровавых подвигов и религиозных войн. Двойной позор лихоимства и палачества покрыл ее на веки, и в этом проигранном деле равно погибла и память святых, и память преступников. Нынешние бойцы за правду и свободу без сочувствия смотрят на людей, которые некогда, подобно им, боролись за правое дело и

погибали в этой борьбе. Но венец мученичества, надетый на них Римом католицизма, хищным, алчным и жестоким более, чем Рим язычества, лишил их на долго ореола славы в благодарных воспоминаниях народов о героях, потрудившихся для них. И католичество лишилось возможности с справедливою гордостью указывать на имена своих героев, служивших не ему, а человечеству, и заплативших жизнью за желание освободить людей. Оно не смеет указывать на свой мартиролог [129], потому что у врагов его есть свой, иной мартиролог, и в нем на имя каждого мученика церкви найдутся сотни имен ее жертв.

Так, без ответа и оправдания, стоит церковь перед судом истории, перед неподкупным судом потомства. Ее благословляющие пальцы в крови: белые ризы ее в кровавых пятнах, и никакие фимиамы не уничтожат запаха жженого человеческого мяса, которым она пропахла; никакие гимны не заглушат замогильных голосов казненных, замученных жертв, тех голосов, которые раздаются в памяти народов. Слова оправдания замирают на устах того, кто, движимый состраданием, хотел бы сказать в ее пользу доброе слово. Не сулят ей пощады и устремленные на все холодные взоры присяжных и свидетелей, и в глазах их не светит сочувствие. И судьи готовы уже надеть черную шапку... Fiat justitia!{17}

Но вот — верх срама и бесчестия! — против преступницы подымается голос ее сообщника! Тот подымается против нее, кто участвовал во всех ее преступлениях, кто, то ссорясь, то мирясь с нею, действовал всегда с ней за одно и для кого она совершила свои величайшие преступления, свои самые нечеловеческие злодеяния. Против нее подымается ее же брат, сообщник и любовник, который похитил у нее евангельскую непорочность, который из святой девы обратил ее в кровожадную фурию, в алчную развратницу; подымается светский теолог, юрист, солдат, представитель государственной мудрости!

Он видит ее унижение, ее позор, ее неизбежное осуждение и спешит предательством, отступничеством закупить судей, выйти целым и невредимым из рокового процесса. Презренный, он представляет против нее новые факты; он помогает памяти свидетелей; он уличает ее в самых задушевных ее стремлениях и намерениях, которые она поверяла ему одному в те минуты, когда, лежа в объятиях друг друга, они сообща составляли свои черные планы, грозящие бедой пародам. Он добродетельно ужасается ее злодеяниям, взывает ко мщению, радуется ее унижению, готов открыть для нее в своих застенках самые жестокие орудия пытки и отыскать в своем уголовном праве самую медленную казнь!

Но нет, этой лжи, этой презренной уловке не удастся восторжествовать. Та самая история, которая дала факты для осуждения одной, обвинит и другого. Сама преступница, в которой все, что было еще благородного, вспыхнет негодованием при этой неслыханной измене, подымет голову и заговорит, чтобы взвести с собой на плаху своего бесчестного сообщника и обличителя.

Католические, клерикальные историки справедливо отвечают на гнусные выходки либералов, что церковь казнила и гнала не по имя теологической правды, а во имя государственных интересов. Сектаторы погибли на кострах и виселицах не потому, что не соглашались с церковью в том или другом догмате, а потому что все без исключения были врагами старого общественного порядка, противниками по церкви, а государства и социальных условий. Вот за что погибли они не столько от руки духовных, сколько светских

властей, погибли не под громами анафем, а под секирою палачей, под ударами сабель и штыков, по приговорам юристов и королей, полководцев и чиновников.

Кто убил предательски Тайлора? — Лордмер Лондона, министр Ричарда II. Кто предательски выдал Гусса? — Император Сигизмунд. — Кто истреблял лоллардов и иоаннитов, гугенотов [130] и цвинглиян [131]? — Короли Англии, Богемии, Франции и аристократии Швейцарии. — Кто обратил в пустыню цветущий Лангедок, родину вальденцев и альбигойцев? — Армии французских королей. Неужели несколько монахов сожгли сотни тысяч еретиков в Испании, Бельгии и Англии? Нет, их сожгли государственные власти, короли, наместники, регенты, сожгли не за мнения об евхаристии [132], а на восстание против насилия и грабежа.

Правда, во всех этих случаях духовенство играло важную роль. Из Ватикана раздавался голос, призывавший царей и народы на священную войну против сект и еретиков. Духовенство заседало в «кровавых» советах, где задумывались и решались «кровавые» свадьбы. Монахи поджигали костры и благословляли убийц на новые зверства. Но главным виновником было не духовенство, к дело шло вовсе не о духовных интересах.

История секты анабаптистов и крестьянского восстания Мюнцера лучше всего показывает, кто был настоящий виновник и о чем шла речь между гонимыми и гонителями.

Пока речь шла о церковной реформе, до тех пор никто не помышлял серьезно противодействовать этому движению. Напротив того: князья были очень рады случаю воспользоваться владениями и доходами духовенства. Но когда за Лютером явились другие проповедники, понявшие, что беда не в индульгенциях, не в папской власти и не в безбрачии духовенства, а во всем социальном устройстве; когда под евангельским учением стали разуместь, по примеру прежних сектаторов, учение равенства и свободы, — тогда началась борьба. В этой борьбе духовенство принимало участие только в качестве светских князей и помещиков, а не в качестве блюстителей чистоты католической веры. Из числа государей, особенно отличившихся деятельностью, многие сами были еретики в смысле католического учения, а тот, кто громче всех кричал против движения, был в глазах истинно верующих самым антихристом.

Тем не менее борьба между высшими сословиями и крестьянами, между государями и Мюнцером, между старым обществом и «новым евангелием» имело вполне характер войн религиозных. Мюнцер был и глава секты, и политический вождь. По выражению историка, «в нем, как в фокусе, отражались и сосредоточивались все явления будущих времен; он был микрокосмом будущности». Не только будущности, но и прошедшего, потому что он — предшественник революционеров XVIII и социалистов XIX века, который подает в истории руку всем сектаторам и, как звено, соединяет в общую цепь весь ряд исторических отщепенцев. Историк говорит о нем, «что дух его до сих пор парит над европейскими странами, веет в хижинах крестьян и проводит глубокую морщину на челе мыслителя за полунощною лампой; этот дух живет в речах честных защитников народа». Да, это тот самый дух, который никогда еще не умирал в истории, который жил в стоиках Рима, в христианах, в сектах и в политических деятелях новейшей истории.

Этот дух всегда вступал в борьбу с коренною ложью общества и возбуждал против себя самую непримиримую ненависть и самое ожесточенное гонение. Так же упорно и озлобленно велась с ним борьба и в шестнадцатом веке, когда он снова явился на мировую сцену в лице Мюнцера, последнего сектатора и первого социального демократа новой истории,

В это время средневековый мир приближался к тому же концу, который, при начале христианства, стал грозить миру древнему. Банкротство верований и учреждений было полное, и ликвидация казалась непредотвратимой. Правда, соединенным усилиям всех, кому она грозила гибелью, удалось отсрочить ее еще на два века, но какими же средствами! Нужен был орден иезуитов [133], нужна была политика Карла V [134], нужно было истребление людей в неслыханных размерах, чтобы протянуть дело еще на 250 лет. Но в первой половине XVI века все эти средства еще не были пущены в ход, и развязка, по-видимому, приближалась быстрыми шагами.

В Германии раздался первый решительный удар против средневекового общества. Одно время, правда недолго, всего одну короткую майскую ночь, как говорит историк, казалось, что удар этот сразу сломит обветшалый и обанкротившийся мир насилия и лихоимства. «Факелами осветился старый Кифгейзер, где столько веков спит в заколдованном сне император Рыжая Борода; встревоженные вороны в испуге вылетели из своих гнезд, и, казалось, настала минута, когда на новом майском поле соберутся свободные народы».

Но сила была на стороне врагов свободы, и сила восторжествовала. Отщепенцам, как Мюнцер, не суждено одерживать побед в поле: им суждены победы только нравственные. Франкенгаузенское сражение решило судьбу демократии XVI века и судьбу Мюнцера. Он был взят в плен и предстал перед судом своих победителей. На упреки их он отвечал, что поступил хорошо, предприняв наказать государей за измену евангелию и христианской свободе; что он, побежденный и пленный, остается при убеждении, что им необходимо видеть узду и намордник; что если крестьяне разбиты, это не его вина, — так, стало быть, им было суждено.

На эту смелую, благородную речь отвечал юный тиран Филипп Гессенский. Он отвечал ему в духе Лютера цитатами из библии против возмущения и о повиновении властям.

Мюнцер не удостоил его ответом. Что ему было говорить? Спорить с палачом, уже занесшим над ним топор? Это хуже, чем проповедывать в пустыне. Тогда его повели на пытку. Государи присутствовали при ней, и тешились, и злорадствовали. Затем его перевезли к жестокому Эрнсту Мансфельду, его личному врагу, у которого его ожидали новые истязания.

Наконец, в лагере перед Мюльгаузенем, совершилась казнь. Князя снова присутствовали, как будто для того, чтобы как молено хуже опозорить себя перед потомством своей жестокостью и глупостью. Его, святого мученика, готовившегося испить последнюю чашу горести за свое дело, его, фанатика, восторженно шедшего навстречу казни, стал увещевать мелкий саксонский тиран, католический герцог Георг. «Пострадай, Томас, — сказал он ему, — за то, что вышел из своего ордена, снял духовную рясу и взял жену». Но

другой палач, лютеранин Ландграф, прервал его: «Нет, Мюнцер, за это не стоило бы тебе страдать; а за то пострадай, что взбунтовал народ!» Так разыгрывались перед мучеником глупые споры и мелочные раздоры его венценосных мучителей.

Он поднялся на своей тележке, в которой был прикован цепью; мучения пытки и тюрьмы, близость смерти не смущали его ясного духа. Смело, спокойно и громко начал он говорить, что задумал дело великое, и оно превзошло его силы; но что советует победителям быть умереннее и ослабить гнет, подавляющий народ, потому что иначе, рано или поздно, снова настанет для них горький час; он указывал им на изречения книги пророков и царей, где они могут найти примеры того, как гибнут тираны, и узнать себя в этих примерах.

Затем он замолк.

Благочестивый герцог Брауншвейгский, исполняя, по своему наивному убеждению, обязанность доброго христианина, счел долгом прочитать ему отходную. Наконец прозвучали последние слова, которыми убийца провожал в могилу свою жертву, и секира пала на голову Мюнцера.

Лютер возликовал, узнав о поражении и казни Мюнцера. Реформатор мог быть спокоен; реформа его остановилась на веки на том значении, которое он придавал ей: она остановилась на полдороге, там, где он ее оставил, и эта золотая середина устояла против усилий героев, хотевших вести ее далее, ко всем ее логическим следствиям. Утописты, отщепенцы снова погибли, потерпели поражение, подверглись позорной казни. Лютер радовался их неудаче и смерти их от руки палача, считая ее позором, который навсегда запятнает их дело.

В своей ненависти к людям, доказавшим ему своей деятельностью, что реформы его ничтожны, что сам он не преобразователя общества, а жалкий член его, что истинно новые люди так же далеки от него, как и от пап, он забывал, что казнь позорит не отщепенцев, а палачей их. Тот, кто был казнен за полторы тысячи лет до Мюнцера, мог бы послужить примером всем свирепым безумцам, которые, взывая к его имени, в то же время осмеливаются презирать его заповедь: «обнаживший меч от меча и погибает», — и решаются судить о жизни и смерти подобных себе. Браги Распятого судили точно так же, как и они, во имя религии, закона, справедливости и государственной пользы. И они говорили: «пусть погибнет лучше один человек, чем из-за него погибнут тысячи», и приговорили его к позорной казни, смело восклицая в уверенности своей правоты —

“ «Кровь его на нас и на детях наших!»

Прошли века, и позор обратился в божественную славу, орудие бесчестной казни в эмблему величайшей святости, и проклята по приговору человечества память его судей и палачей. На каждом шагу все символы и священные легенды христианства твердят людям про истины, заключенные в этом примере; но люди крестятся, молятся на кресты, целуют распятие и не видят, не слышат урока, который дает им пример распятия.

Так и этот ханжа, этот изувер, этот женатый доминиканец, этот университетский папа, в своей запальчивости труса и в кровожадности лицемера, воображал, что позорная казнь может опозорить великое и славное дело. А государи и князья спешили довершить унижение побежденных. Не довольствуясь казнью демократического вождя, они яростно преследовали его помощников, товарищей и последователей. Тысячи людей погибли от разъяренных князей и дворян, которые изобретали всевозможные казни, чтобы как можно ужаснее отомстить за себя и опорочить память своих врагов. Быть может, с этой мудрою государственною целью, один благородный рыцарь решился нанести молодой беременной вдове Мюнцера то ужасное оскорбление, которое привело в негодование даже Лютера. По этому случаю в вспыльчивом реформаторе в последний раз проснулось благородное негодование, и тяжелые слова осуждения посыпались из уст его на победителей, которых он еще так недавно возбуждал к немилосердной резне народа.

«Яростные, бешеные и безумные тираны, — писал он, — не могут упиться кровью и после битвы. Они никогда не помышляли о Христе, и толковать им о нем я считаю излишним. Таким кровожадным псам все равно, кого бить, виновного или невинного, служить Богу или черту, лишь было бы кого резать; поэтому ж предоставляю учителю их, дьяволу, вести их, куда ему угодно».

«Я слышал, что в Мюльгаузене один высокородный господин призвал к себе бедную жену Мюнцера, беременную и овдовевшую, встал перед ней на колени и сказал: „милая, позволь...“ О какой благородный, рыцарский поступок! О какой смелый герой, какой неустрашимый рыцарь! Что же толковать с такими мерзавцами и свиньями! Св. Писание называет таких людей bestиями, т. е. лютыми зверями, каковы — волки, гиены, медведи и львы; стало быть, обращать их в людей мне не приходится».

Так в потоках крови было задушено последнее религиозно-политическое движение народов Европы, и так погиб последний сектатор христианства. Его смерть заставляет грустно оглянуться на весь ряд его предшественников, которые все боролись за правое и святое дело, боролись с верою и одушевлением и погибли мучительною смертью под ударами церкви и государства.

Полторы тысячи лет учение евангелия вызывало людей на бой за истину против насилия и лихоимства. Полторы тысячи лет из рядов церкви и общества беспрестанно выходят люди, отлагающиеся от них, возвращающиеся к чистоте первобытного евангелия и желающие страстно спасти общество от богохульников, гнетущих его и извращающих смысл божественного слова. В них, в этих отщепенцах, не угасает евангельская традиция. Они — верные хранители того учения, которого содержание выразилось в Нагорной проповеди. Из уст Основателя христианства раздалась речь против лихоимства и насилия. Христиане первых веков еще подражают своему учителю и развивают с кафедр евангельские истины. Святые Амвросии и Иоанны Златоусты не боятся говорить христианскую правду в глаза царям, деспотам, богачам и знатным. В соборах Византии и Медиолана, с престолов архиепископов и патриархов, раздаются громоносные обличения преступлений императоров и лихоимства высших классов.

«Таковы-то ваши благодеяния, о богачи! Вы даете меньше, чем получаете; вы грабите, даже помогая; вы извлекаете себе пользу из самой нищеты. Тот, кто платит вам лихву, находится в нужде; он должен занять у вас, чтобы расплатиться с необходимыми долгами, и остается ни с чем. А вы, милосердые люди, вы снимаете с него чужие цепи, чтобы сковать его покрепче своими! — У него нет хлеба, и он платит лихву! Есть ли что-нибудь нелепее этого? Он просит у вас лекарства, а вы даете ему яд; он просит хлеба, а вы показываете ему меч; он ищет свободы, а вы берете его в рабство; он жаждет избавления, а вы затягиваете петлю, которая его душит.

„Вы пьете, а другой плачет; вы едите, и ваша пища душит других; вы наслаждаетесь симфониями, а другой изнывает в рыданиях. Вы наживаетесь горем; вы ищете выгод в слезах; вы, считая себя богатыми, тем не менее отнимаете у бедняка его скудный заработок. Но слышали ли вы, что сказал Спаситель: горе вам, богатые; имеющие отраду. Val vobis, divitibus, qui habetis consoltdtionem!“ {18}

Вскоре церковь забыла евангелие и обратилась в язычество, т. е. стала служить насилию и проповедывать лихоимство. Но сектаторы 10 веков сряду выступали против нее и напоминали людям, что не тому учит евангелие, которому они поклоняются, не в том состоит христианство, членами которого они себя считают.

И что же? Все они умерли, кто на костре, кто на плахе, и после гибели последнего из них не являлось более сектаторов, не было более религиозных революционеров, отщепенцев во имя евангелия. По-видимому, насилие восторжествовало: палач и торгош индальгенциями сделали свое дело. Голос правды, голос Спасителя, Златоустов, Григориев и Василиев, голос Вальда и Мюнцера замолк навсегда. Неужели они боролись тщетно, умерли бесполезно? Неужели лихоимство и насилие победили действительно, окончательно, заставив навсегда замолкнуть голос правды? Неужели, наконец, все усилия, весь героизм, вся правда их были употреблены на дело, которому никогда не суждено победить, которое осуждено жизнью навеки, так что история их трудов и страданий способна только исторгнуть вопль мучительного разочарования?

Но нет, деятельность их прошла не даром! Последний из них, Мюнцер, подает свою доблестную руку, руку, ниспровергавшую алтарь и митру, ряду других отщепенцев, в которых живет вечная, бессмертная идея и которые продолжают протест во имя свободы, равенства и братства, против насилия и лихоимства. Сектаторский религиозный дух умер, конечно; но идея, жившая в нем, осталась жива и только переменила знамя. Философия заменила религию, наука — предание. Мученики религиозной борьбы могли только сказать, умирая:

“ „Поднимаем руку к небесам и клянемся: мысль наша бессмертна!“